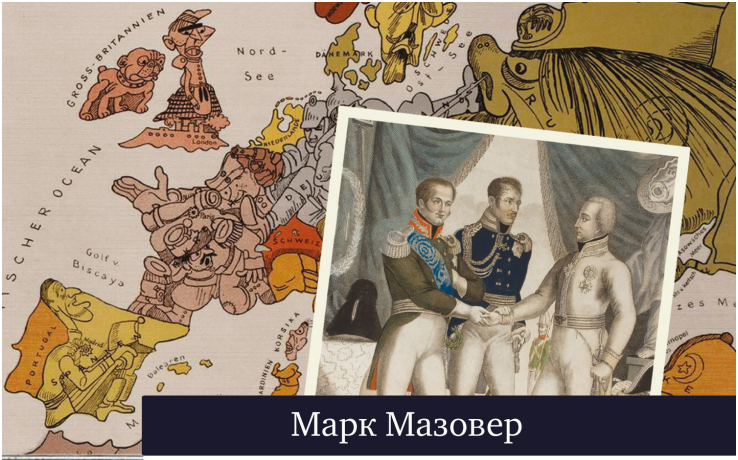

Марк Мазовер

ВЛАСТЬ над миром

История идеи

Марк Мазовер

Власть над миром. История идеи

Серия «Геополитический ракурс»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28540930
Власть над миром. История идеи / Мазовер Марк : Кучково поле; Москва; 2016
ISBN 978-5-9950-0715-9

Аннотация

В своей книге М. Мазовер размышляет о проблеме национального и интернационального начала в международных отношениях. Рассматривая полярные концепции – эволюцию различных вариантов тоталитарной интернационалистической утопии и идею установления общемировой гармонии, достижимой путем максимального отказа от управления и выхода за рамки государства, – автор прослеживает историю так называемой срединной формы интернационализма, доминировавшего в мировой политике большую часть XX в.

Мазовер рассматривает зарождение в XIX в. идей и механизмов интернационального управления миром, реализованных европейскими «великими державами», затем показывает становление и развитие концепции англо-

американской мировой гегемонии, а также особенности реализации этой политики после 1946 г. в условиях «холодной войны», и, наконец, идеи глобализации и реалии существования однополярного мира, сложившиеся в 1990-х гг.

Содержание

Введение 5
Часть I 22
Глава 1 22
Глава 2 52
Конец ознакомительного фрагмента. 83

Марк Мазовер
Власть над миром: История идеи

Введение
Книга мечты Филипа Рейвена

В декабре 1988 г. советский Генеральный секретарь Михаил Горбачев выступил с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН. Объявив об одностороннем сокращении количества войск на границах СССР, он призвал к «новому мировому порядку», в котором не будет места идеологическим разногласиям[1]. Следующим летом пришла очередь президента США Джорджа Буша. Иракские вооруженные силы вторглись в Кувейт, и он в ответ заявил, что интернациональная коалиция под предводительством Америки должна изгнать их, а также предсказал что *по завершении этого непростого периода… может возникнуть новый мировой порядок: новая эра, свободная от угрозы террора, с неуклонным стремлением к справедливости и безопасности для будущего мира. Эра, в которую все народы мира, Восток и Запад,*

[1] Выступление Горбачева на Генеральной Ассамблее ООН, 7 декабря 1988.

Север и Юг, будут процветать и жить в гармонии. До нас сотни поколений искали путь к всеобщему миру, но тысячи войн преграждали им дорогу. Ныне на наших глазах рождается новый мир[2].

Однако то, что Горбачев и Буш воспринимали как освобождение народов, многим казалось началом всепланетной тирании. В среде христианских правых много десятилетий бродили подозрения о вмешательстве оккультных сил, управляющих судьбами мира. Теперь они всплыли на поверхность. В своем бестселлере 1991 г. «*Новый мировой порядок*» телевизионный проповедник Пэт Робертсон предупреждал американцев о приближающемся пришествии антихриста. Несколько лет спустя бестселлером стала серия апокалиптических триллеров, в которой антихрист предстает в облике красивого, образованного и харизматического молодого Генерального секретаря ООН. Антигерой серии Тима ЛаХэя, безжалостный румынский политик по имени Николае Карпатиа, притворяясь сторонником мира, пытается использовать ООН для установления мирового господства[3].

Для других критиков из правого крыла слова Буша ста-

---

[2] Preston A. The politics of Realism and Religion: Christian Responses to Bush's New World Order, Diplomatic History, 34:1 (Jan. 2010), 95-118.

[3] Barkun M. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America (Berkeley, 2003), 39–78; теология антиинтернационализма достаточно сложна и пока мало изучена. О движении Христианской реконструкции см.: Sugg J. A Nation under God, Mother Jones, Dec. 2005.

ли напоминанием о давно забытом «*Новом мировом порядке*» Г. Уэллса – книге, опубликованной в 1940 г., в которой британский писатель призывал всерьез задуматься о том, каким станет будущее человечества после поражения нацизма. «Бесчисленное множество людей… возненавидит Новый мировой порядок… и погибнет, протестуя против него, – писал Уэллс. – Мы должны помнить о разочаровании целого поколения, а то и более, оппозиционеров». В своей президентской кампании 2000 г. кандидат от правых Пэт Бьюкенен упомянул эти слова. «Что ж, мистер Уэллс, – заявил он, – мы и есть ваша оппозиция».

Национализм Бьюкенена оказался слишком экстремальным, что подтвердили полученные им 0,4 % голосов. Однако падение рейтингов ООН и других международных организаций в глазах американской общественности и неодобрительное отношение к их финансированию в Конгрессе было очевидно. При Джордже Буше-младшем интернационализм его отца отошел в прошлое. «Мы благодарим Бога за смерть ООН», – писал неоконсерватор Ричард Перл в марте 2003 г., когда бомбы сыпались на Багдад. Падение Саддама, радостно предвкушал Перл, положит конец не только тирании, но и многим излишним ожиданиям наподобие Нового мирового порядка, которого так ждал Буш-отец. Американская военная мощь наконец сможет править миром, не оглядываясь на многосторонние интернациональные институты, которые

наша же страна в свое время породила[4].

Уэллс много размышлял о мировом правительстве, и его знаменитый роман *«Образ грядущего»* представлял собой пространный прогноз перехода к подобному мироустройству. Он описывал десятилетний конфликт в Европе, за которым следует опустошительная эпидемия и практически полный коллапс цивилизации. Однако все заканчивалось хорошо: под диктатом англоязычной коалиции «Крылья над миром» начинается эпоха всеобщей стабильности и секуляризации. Религия устраняется – ислам без проблем, просто разрушением Мекки, иудаизм путем погромов и ассимиляции, католицизм после некоторого сопротивления. (О евангелическом христианстве Уэллс не упоминает вообще.) За 100 лет правления прекрасно организованного и стремящегося к благим целям Движения за современное государство, обладающего могуществом гораздо большим, чем у «мишурных диктатур» 1930-х гг., старые проблемы человечества решаются полностью. Мировое правление, писал Уэллс, было «очевидно единственным решением человеческих проблем, и вот оно достигло своей цели».

Разделенные шестью десятилетиями «*Образ грядущего*» Уэллса и «*Оставленные*» ЛаХэя уводят нас в противоположных направлениях. В первом катастрофа влечет за собой триумф разума через создание всемирного государства,

---

[4] Hughes T. L. The Twilight of Internationalism, Foreign Policy (1985-86), 28–46; Perle R. Thank God for the death of the UN, Guardian, 20 March 2003.

во втором она приводит к торжеству Бога и поражению антихриста. Одна полна технократической самоуверенности, свойственной британскому имперскому модернизму начала XX в. с его убежденностью в способности правительства и государственных институтов определять проблемы и находить решения, вторая отражает тревогу за судьбу гражданских свобод, характерную для Америки конца XX в., а в Большом правительстве видит угрозу тоталитаризма. Справедливости ради следует отметить, что во времена Уэллса многие считали его идеи слишком далеко идущими – точно так же, как американцы считают слишком далеко идущими разговоры о черных вертолетах и Новом мировом порядке. Тем не менее базовая направленность этих произведений достаточно реалистична. Из эпохи веры в международные институты мы перешли в эпоху, где этой веры не осталось.

Идея о наднациональном правительстве, контролирующем человечество, – это просто экстремальный вариант широкого спектра секулярных интернационалистских утопий. Отраженная в надеждах, фантазиях и страхах, она предлагает человечеству лучшее будущее, создать которое нам вполне по силам, и обещает свободу. Моя цель в этой книге – не предложить собственную альтернативу многочисленным вариантам этой мечты, возникшим за последние два столетия, или выявить превосходство одного из них над остальными. Скорее, я хочу изучить их историческую эволюцию, показать, как некоторые из них оказывали влияние на реа-

лии через институты, которые создавали, и понять, что осталось от них на сегодняшний день.

Это не история международных отношений в целом, хотя в качестве отправной точки я беру определенный момент в этой истории и часто возвращаюсь к международным отношениям как дисциплине. Это также не история мирового правительства как такового – подобную версию интернационализма проповедовал Г. Уэллс, – поскольку представление о едином органе, управляющем планетой, никогда не могло похвастаться большим количеством сторонников. Гораздо большее влияние имеет идея, находящаяся на другом краю спектра, – вера в то, что международная гармония означает максимальный отказ от управления и выход за рамки государства, к своего рода постполитическому слиянию. В XIX в. коммунисты, анархисты, капиталисты – сторонники свободного рынка и пацифисты стремились к этой же цели, хотя и предлагали для ее достижения совершенно разные стратегии; их влияние сказывается на судьбах человечества вплоть до наших дней. Между двумя этими полюсами – тотальным правлением и его отсутствием – находится идея срединной формы интернационализма, подъему и падению которой и посвящена моя книга, идея, торжествовавшая большую часть XX в., с ее представлениями об организованном сотрудничестве между странами, или, выражаясь техническими терминами, идея о межправительственных отношениях в противовес наднациональным институтам. Именно ее,

хотя и в разном преломлении, имели в виду и Горбачев, и Буш-старший, и именно она продолжает оказывать влияние на мир сегодня.

* * *

Я начинаю с XIX в., с дипломатов европейской реставрации, создавших своего рода первую модель интернационального правительства – конклав великих держав, известный под названием Европейского Концерта. После поражения Наполеона государственные деятели проводили регулярные встречи с целью предупреждения ситуации, когда одна нация начинает доминировать на континенте и создавать революционное брожение, способное привести к войне. Однако вскоре в дело вступила логика тезиса и антитезиса. Если Концерт являлся реакцией на действия Наполеона, то интернационализм, как этот термин понимали в XIX в., был ответом Концерту. Собственно, само слово «интернационал», возникшее именно в то время, означало программу радикальных трансформаций и реформ разной степени и глубины, но объединенных верой (столь чуждой нашему времени) в то, что национализм и интернационализм, идя рука об руку, смогут сделать мир лучше и справедливей. Убежденные в том, что в их руках ключ к счастливому будущему, интернационалисты выступали как против консервативных дипломатов, которых презирали, так и против друг друга. Неко-

торые, например Карл Маркс, мечтали об объединении сил пролетариата; Джузеппе Мадзини, ненавидевший Маркса, надеялся, что республиканские патриоты сформируют мир наций. Протестантские евангелисты выступали за братство всех людей и призывали к всеобщему разоружению. Торговый класс и журналисты призывали к свободной торговле и развитию промышленности. Ученые придумывали новые международные языки, распространяли технические знания и вынашивали масштабные инженерные проекты, способные объединить человечество. Анархисты считали, что проблема заключалась в государстве, – они даже сформировали свой, просуществовавший очень недолго, анархистский интернационал. Юристы утверждали, что проблема в политиках, и настаивали на том, чтобы государства прекратили войны, а свои разногласия решали в арбитраже или всемирном суде. К концу века, когда даже представители европейских тайных полиций начали организовываться на международном уровне для борьбы с радикальным терроризмом, интернационализм стал той почвой, на которой многочисленные идеологии и политические группировки разного толка основывали свои надежды и опасения.

Этим процессам посвящены первые главы книги; далее я прослеживаю, что произошло, когда интернационализм стал доктриной влиятельных сторонников нового англо-американского мирового порядка. Идеи подкреплялись политическим влиянием, но предсказать, какую именно оно поддер-

жит, было невозможно. Идеи стали кровью в жилах крупных международных организаций, таких как Лига Наций и ООН, в первую очередь потому, что они, в отличие от внутригосударственных структур, не вырастали постепенно. Они появлялись на свет одномоментно, а их акушеркой была война. Политические обозреватели периода между двумя войнами, убежденные в том, что политические институты должны расти органично, понимали, что сама природа этих организаций, искусственная и новаторская, представляла политическую проблему; однако они считали, что если Лига Наций сумела завоевать симпатии общественного мнения благодаря своим идеалам, то со временем она покорит и сердца людей, как это когда-то удалось империям. Таким образом, в «геноме» международных организаций оказалось заключено неизбежное противостояние между узкими интересами, которые великие державы рассчитывали отстаивать с их помощью, и идеалами и риторикой, складывавшимися вокруг них.

Фундаментальный вопрос, очевидный за таким стремлением к созданию международных институтов после 1918 г., заключался в том, зачем вообще организации наподобие Лиги – или Коминтерна, или, позднее, ООН – нужны великим державам. В конце концов, Гитлер ими не располагал, да и в целом отрицал идею международной организации; многие британские и американские политики были с ним в этом согласны. Историки, приветствовавшие интернационализм как

постепенный подъем самосознания у мирового сообщества, не задавались этим вопросом; то же самое можно было сказать и об ученых, считавших международные организации просто прикрытием для интересов великих держав. Великие державы действительно всегда сопротивлялись ограничениям, чем бы они ни были обусловлены: членством в организации, законом или другими факторами. Тем не менее в XX в., как ни удивительно, ни в Британии, ни в Америке односторонность не одержала верх, несмотря на некоторые отступления в ее сторону. Британцы приняли интернационализм в 1918 г. как способ спасти империю; американцы – после 1945 г., чтобы построить свою. Иными словами, в долгой перспективе большинство политиков в Уайтхолле и Вашингтоне понимали, что такой новый способ применения власти дает огромные преимущества. Это в особенности касается американцев, чье стремление формировать новую структуру международных отношений значительно превосходило стремление их британских наставников. Участие в данном процессе сделало глобализм приемлемым для американского общественного мнения, всегда с подозрением относившегося к остальному миру. Одновременно с этим лидерство некой международной организации означало для США лишь минимальные риски ограничений, поскольку американцам всегда удавалось сочетать универсализм с исключительностью и писать правила так, чтобы они соответствовали американским интересам, а в противном случае на Америку

не распространялись. Поскольку прочие страны желали участия США практически на любых условиях, такие двойные стандарты воспринимались терпимо.

После создания ООН и ее агентств американская политика приобрела легитимность, а ее распространение по миру США практически ничего не стоило. От них потребовались разве что некоторые инвестиции политических капиталов; организация контроля за международными органами и их персоналом поэтому стала – и остается – жизненно важным политическим вопросом. Когда были обнародованы сведения о том, что японский дипломат Юкия Амано в 2009 г. в конфиденциальной беседе заверил представителя США в том, что «он полностью на стороне США по всем стратегическим позициям» – Амано на тот момент являлся кандидатом на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии, – удивление вызвала разве что их огласка, но никак не содержание[5]. Однако вашингтонских политиков нельзя считать лицемерами, использующими интернационализм исключительно как прикрытие для американских интересов. Напротив, откровенность была главным смазочным веществом всего этого механизма, который не смог бы функционировать без глубокой убежденности в том, что ценности американского либерализма совпадают с общемировыми.

---

[5] Davies G. Washington, 16 Oct. 2009, по материалам http://www.guardian.co.uk/world/julian-borger-global-securityblog/2010/nov/30/iaea-wikileaks.

Точно так же отнюдь не все страны покорно согласились с желаниями американцев: многосторонние институты, как показывает история большинства из них, нелегко поддаются контролю со стороны одного государства. Недостаток покорности всегда был самым убедительным возражением против них и в пользу односторонности; он же стал главной причиной отчуждения Америки от ООН в 1970-х гг. и последующего ее разворота к Всемирному банку, Генеральному соглашению по тарифам и торговле и МВФ. Тем не менее в целом удивительно быстрое распространение американского влияния по всему миру после 1945 г. было бы невозможно без помощи и прикрытия целого спектра международных институтов, возникших в тот период. Они сыграли относительно небольшую роль в решающий момент борьбы за Европу в ходе холодной войны – между 1946 и 1949 гг., – однако их значение стало очевидно, когда борьба против коммунизма обрела глобальные масштабы. В особенности это можно сказать о двух периодах: 1950–1960-х гг., когда остро встала тема развития, и 1980–1990-х гг., с их неолиберальной экономикой (тогда США использовали международные организации для утверждения своих глобальных амбиций, простиравшихся далеко за пределы традиционных опасений за национальную безопасность, характерных для любой крупной страны в период радикальных социальных трансформаций). Описывая эти события, я постарался избежать сползания в историю международных институтов, неизбежно подразуме-

вающую скучные описания бюрократических баталий и бесконечно множащихся комитетов и агентств. Историки зачастую путают слова, планы и намерения с реальными действиями. Я же постарался связать возникновение международных институтов с реалиями баланса сил и продемонстрировать, как доминирующие государства XX в. встали на путь международного сотрудничества и что это означало для них и для всех остальных. Сегодня мировая политика стала более разнообразной и всеохватывающей, чем была когда-либо, и любой, кто пытается в ней разобраться, быстро теряется в путанице невнятных терминов, скрывающихся в бюрократическом тумане. В мире есть военные альянсы (например, НАТО или ЗЕС), межправительственные организации классического типа, от ООН до специальных агентств, таких как МОТ, ИКАО, Международный уголовный суд, Всемирная организация здравоохранения и Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле, региональные органы (Совет Европы, Еврокомиссия, Организации Американских и Африканских стран), постимперские клубы, такие как британское Содружество или Международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, псевдополитические объединения наподобие Европейского союза и регулярные конференции саммитов, например Большой двадцатки. Нельзя также игнорировать огромное количество неправительственных организаций различного толка, многие из которых ныне играют более или менее официальную роль в

формировании мировой политики.

Политическая картина, и без того на редкость запутанная, вот-вот усложнится еще больше. Технические инновации изменяют жизненно важные сферы международного сотрудничества, в частности способы функционирования рынков или ведения войн. В более фундаментальном смысле эпоха западного доминирования в международной сфере быстро близится к концу, а ей на смену приходит гораздо более сложный глобальный баланс сил. По мере того как новые государства, такие как Бразилия, Индия, Индонезия и Китай, получают все больше власти и влияния, история, которую я здесь излагаю, постепенно переосмысливается с точки зрения Второго и Третьего мира. Я предпочел сосредоточиться на европейских и американских действующих лицах, которые были в первую очередь ответственны за создание институционного и концептуального аппарата интернационализма. В момент обострения споров о целях и долговечности наших международных институтов лучшее понимание того, как мы пришли к такой ситуации, может быть весьма полезно. Сегодня даже язык, который мы используем, говоря о положении в мире, отражает путаницу в наших мыслях и намерениях. Что такое «правление»? Что представляет из себя «гражданское общество»? Существуют ли в действительности неправительственные организации? История развития идеи о мировом правлении если и не дает ответов на эти вопросы, то, по крайней мере, указывает на некоторые опор-

ные пункты.

* * *

Эта книга во многом является продуктом Колумбийского университета. Уже благодаря своему расположению он прекрасно отражает отношения между интернациональными институтами и национальной властью; ни в одном другом месте мне не удалось бы получить столько помощи и поддержки от коллег и студентов, обладающих огромными знаниями в данной области. В первую очередь я хочу поблагодарить тех, кто полностью прочел рукопись, за их щедрую помощь: это Майкл Алацевич, Мэтью Коннели, Маруа Элшакри, Николя Гуиот, Даниель Иммервар, Мартти Коскенниеми, Томас Мини, Сэмюел Мойн, Андерс Стефансон и Стивен Вертхайм. Я также очень много узнал от Алана Бринкли (вместе с которым прочел очень увлекательный курс лекций), Деборы Коэн, Вики де Грациа, Дика Диркса, Кэрол Глюк, Жана-Мари Гехенно, Айры Катцнельсона, Грега Манна, Энди Нэйтана, Сьюзан Педерсен, Рианнона Стивенса и Фрица Стерна. Студенты, которым я признателен за исследования в данной области и за познавательные беседы: Дав Фридман, Эйми Дженелл, Майра Сигельберг и Наташа Уитли. Отдельно я благодарю Стивена Вертхайма не только за суровую критику, но и за беседы, которые начались с того самого дня, когда он пришел в наш отдел, чтобы посмот-

реть, понравится ли ему там, и которые, я надеюсь, будут продолжаться еще долго после того, как он закончит работу над диссертацией. За помощь в различных аспектах работы над данным проектом я благодарю Элию Армстронг, Дункана Белла, Эйла Бенвенисте, Ману Бхагавана, Фергюса Бремнера, Кристину Бернетт, Брюса Бернсайда, Бенджамина Котса, Сола Дубоу, Майкла Дойла, Яна Эккеля, Эдхейма Элдема, Франсуа Фюрстенберга, Мориса Фрейзера, Пола Гудмена, Майкла Гордина, Грега Грендина, Сесилию Гевару, Уильяма Хагена, Дэвида Кеннеди, Томаса Келли, Джона Келли, Дэниела Лака, Питера Мандлера, Петроса Мавроидиса, Джин Морфилд, Хозе Мойя, Тимоти Нанена, Дэна Плеша, Сильвио Понса, Гвен Робинсон, Карне Росса, Стива Шапина, Брендана Симмза, Брэдли Симпсона, Фрица Стерна, Джиллиан Тетт, Николаса Теокаракиса, Джона Томпсона, Яниса Варуфакиса, Джозефа Вейлера и Джона Уитта. За возможность опробовать аргументы из этой книги на разных аудиториях я признателен Гельмуту Бергхоффу, Халилу Берктау, Джиму Чендлеру, Джону Котсуорту, Джонатану Холлу, Стефану-Людвигу Хоффману, Клаудии Кунц, Томасу Лакеру, Джиму Ленингу, Джону МакГоуэну, Джиан Пракаш, Бригитте ван Рейнберг, Дэвиду Пристленду, Сьюзан Саттон и Адаму Тузу. Я выражаю неизменную глубочайшую признательность за критику, терпение и одобрение моим издателям Скотту Мойерсу и Саймону Уиндеру. Я благодарен за поддержку лучшему из агентов Эндрю Уайли. Когда я только

начинал писать эту книгу, скончался мой отец, поэтому работа стала для меня способом переосмыслить достижения и взгляды его поколения: я должен признать, что отец оказал на меня глубокое влияние, а маму я благодарю за постоянное ободрение. Я бесконечно обязан Маруэ Элшакри: эту книгу я с любовью посвящаю ей и двоим нашим детям, Сельме и Джеду.

Канал-Хаус, Григгстаун
15 апреля 2012 г.

Часть I
Эра интернационализма

Глава 1
Под знаком Интернационала

Основным вопросом нашей эры является сосуществование ведущих рас или наций, объединенных общими международными законами, религией и цивилизацией, но все-таки отдельных друг от друга.
Фрэнсис Либер (1867)[6]

Идея космической гармонии имеет долгую историю. По словам пророка Исаии, Бог должен наслать катастрофу на все народы мира, прежде чем сотворить «новое небо и новую землю», где «волк и ягненок будут пастись вместе». Римский imperium предполагал объединение цивилизованного мира под общей системой законов. И христианство, и ислам стремились утвердить всеобщую власть Бога на земле; средневековое папство и Оттоманская империя формулировали свою задачу в тех же терминах. «На небесах планеты и Земля, –

[6] Цитируется у Curti M. Francis Lieber and Nationalism, Huntington Library Quarterly, 4:3 (April 1941), 263–292.

объявляет Улисс в «*Троиле и Крессиде*» Шекспира, – законы подчиненья соблюдают, имеют центр, и ранг, и старшинство» (Полное собрание сочинений: в 8 т. / пер. Т. Гнедич. М.: Искусство, 1959. Т. 5).

Однако возникновение идеи о том, что правители мира формируют своего рода интернациональное сообщество, более современна, а возникла она из недовольства идеей мировой империи.

«Большинство из нас испытывает страх перед понятием Всемирной империи, – писал Эразм Роттердамский. – Объединенная империя была бы хороша, будь у нас правитель, созданный по образу и подобию Божьему, однако человек таков, каков он есть, поэтому безопаснее иметь королевства с умеренной властью, объединенные в христианскую лигу». Макиавелли утверждал, что разнообразие европейских государств само по себе обеспечивает гражданские добродетели. Вот от чего мы отталкиваемся, изучая особенности европейского развития, в котором значительную роль сыграла постепенная политическая дезинтеграция христианства, заложившая основы для современного интернационализма. С интеллектуальной точки зрения от идеи правил, которым подчиняется интернациональное сообщество королей и принцев, мы пришли к постмонархическому видению мира, состоящего из разных народов, интернациональному сообществу [7].

Что, спрашивали ранние теоретики политики, может объ-

[7] Book of Isaiah, esp. chapters 64–66.

единить между собой правителей разных государств, если не страх перед Богом? Главной характеристикой международной политики была и остается анархия – отсутствие единой власти, способной призвать членов сообщества к подчинению, которого они сами ждут от своих субъектов. Томас Гоббс описывал отсутствие единого правителя в пессимистических тонах, считая его источником бесконечных распрей, однако другие относились к этому факту более хладнокровно. Разве природа, как учили Аристотель и Августин, не имеет собственных законов? В XVI и XVII вв. возникла идея законов наций, основанных на естественном праве; к XVIII в. теоретики мира уже предлагали конфедеративные схемы, основанные на уважении прав, зафиксированных в договорах, и равенстве всех членов сообщества. Утверждая вслед за Макиавелли, что гетерогенность Европы является ее сильной, а отнюдь не слабой стороной, интеллектуалы Просвещения, такие как Монтескье, Гиббон и Юм, противопоставляли предполагаемую стагнацию деспотических азиатских империй жизнеспособности континента, чьи многочисленные государства обменивались между собой товарами и идеями. Торговля – залог мира, утверждали они, равно как и баланс власти, создаваемый правлением конкурирующих суверенов. В то время как ранние авторы считали объединение необходимым для восстановления после раскола христианства, *философы* принимали существование политических различий и столкновение конкурирующих инте-

ресов: все они должны были разрешиться через некую космическую гармонию, а соперничество считалось благотворным, поскольку влекло за собой инновации и вело к прогрессу. Раз уж конфликт являлся неотъемлемой составляющей взаимодействия наций, большинство теоретиков Просвещения не считали его отрицательным фактором[8].

Критики провозглашали эти рассуждения слишком оптимистичными и обвиняли сторонников баланса политических сил в излишней рационализации и неверном отношении к изменениям. Руссо утверждал, что только жесткая конфедерация гарантирует выполнение социальных обязательств, но поскольку она не может существовать в масштабах, превышающих Швейцарскую республику, то Европе следует стремиться к разъединению. Томас Пейн считал европейский континент «слишком густо заполненным разными королевствами, чтобы долго пребывать в мире» и выдвигал аргумент об Америке, которую считал «спасением человечества» от тирании и угнетения. Французская революция усилила интенсивность подобных нападок. Для идеологов революции баланс власти, существовавший при *старом режиме,* был разрушен, и наполеоновская Франция являлась на самом деле «другом человечества», направляющим Европу на новые

---

[8] Archibugi D. Methods of international organization in perpetual peace projects, Review of International Studies, 18:4 (Oct. 1992), 295–317. The essential reference work in: Hinsley F. H. Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of Relations between States (Cambridge, 1967).

рельсы[9]. По мнению противников революции, Наполеон, напротив, угрожал Европе установлением новой версии ненавистной мировой монархии. На эту тему шли ожесточенные дебаты, в которые постепенно оказались вовлечены все главные интеллектуалы своего времени: на первый взгляд, речь шла о Европе, но фактически споры велись о природе международной политики в целом. В них можно проследить не только зарождение идеи «интернациональности» как отдельной сферы политической жизни со своими правилами, нормами и институтами, но, наряду с ней, идеи о том, что эта сфера политики является в определенном смысле *управляемой*, и управляемой не Богом, не природой или здравым смыслом, а людьми. Таким образом, в начале XIX в. возник интернациональный дискурс, который за один век превратился из дискурса о Европе в дискурс обо всем мире, пройдя путь от радикальной критики Концерта и его сторонников до взгляда на будущее и политику, охватывающего весь политический спектр.

* * *

Задолго до опубликования ставшего классическим труда о вечном мире в 1795 г. философ Иммануил Кант уже вступал в споры со своим сувереном, прусским королем Фри-

[9] Nekhimovsky I. The Ignominious Fall of the “European Commonwealth”: Gentz, Hauterive, and the debate of 1800.

дрихом Вильгельмом II, по вопросам религии, и фактически большинство философских трудов Канта не было напрямую связано с политикой. Однако затем произошла Французская революция, а вскоре после этого Королевство Польша, некогда одно из крупнейших государств Европы, исчезло с карты, разобранное по частям своими соседями. Эти угрожающие события указывали на то, что теоретики естественного права XVIII в. были чересчур оптимистичны в своих оценках мирной природы европейской цивилизации. Вот на каком фоне Кант начал писать свое знаменитое исследование о пути к вечному миру – труд, который до сих пор продолжает оказывать влияние на новые поколения мыслителей, рассуждающих о правлении.

В начале 1990-х гг. аргументы Канта перефразировал один из американских политических теоретиков, выступающих за активную иностранную политику, которая якобы должна поддерживать и распространять демократию по всей планете под именем мира. Однако этот Кант эпохи конца холодной войны сильно отклонился от оригинала времен Просвещения, который вовсе не превозносил *демократию* и не верил в то, что подобные вещи можно насаждать через политику, и уж точно не делил мир на либеральные и нелиберальные государства. Настоящая точка зрения Канта, зафиксированная в классической традиции, заключалась в том, что республики – а не демократии – ведут к миру, поскольку основную роль в этом процессе играет эффективное разделе-

ние власти. Фактически, как многие классические либералы, он рассматривал демократии просто как государства с правлением большинства, которое без эффективного разделения власти может скатиться в деспотизм. По мнению Канта, причина того, что республики стремятся к миру, заключается в том, что за них придется сражаться их собственным гражданам, а не наемникам. Демократия, опирающаяся на профессиональную армию, вряд ли внушила бы ему доверие.

Не менее едкой для современного восприятия кажется и крайняя враждебность Канта к международным законоведам, которую он объясняет своим убеждением в том, что они выступают, в первую очередь апологетами власти, а потому нисколько не способствуют установлению мира. Фактически они препятствуют ему, заботясь лишь о временном сдерживании враждебности:

Собственно говоря, понятие международного права как права на войну нельзя мыслить… если только не понимать под ним следующее: вполне справедливо, что настроенные таким образом люди истребляют друг друга и, следовательно, находят вечный мир в глубокой могиле, скрывающей все ужасы насилия вместе с их виновниками. В соответствии с разумом в отношениях государств между собой не может быть никакого другого способа выйти из свободного от закона состояния постоянной войны, кроме как отречься подобно отдельным людям от своей дикой (не основанной

на законе) свободы, приспособиться к публичным принудительным законам и образовать таким путем (разумеется, постоянно расширяющееся) государство народов, которое в конце концов охватит все народы земли. Но, исходя из своего понятия международного права, они решительно не хотят этого, отвергая тем самым in hypothesi то, что верно in thesi. Вот почему не положительная идея мировой республики, а (чтобы не все было потеряно) лишь негативный суррогат союза, отвергающего войны, существующего и постоянно расширяющегося, может сдержать поток враждебных праву и человеку склонностей при сохранении, однако, постоянной опасности их проявления [10].

Кант, таким образом, утверждает, что государства, ограниченные законом, направленным на предотвращение войн, не могут заменить всеобщего порядка, который, по его мнению, возникает постепенно и неизбежно, по мере того как государства становятся федеративными и приглашают других присоединяться к ним. Он не указывает механизма, с помощью которого так должно происходить; в то время еще не было популярно теоретизирование по проблемам *организации*. Однако коммерция, в которую так верили многие другие, явно не является для него подобным механизмом, так как Кант не считает ее цивилизованной: он достаточно мрачно оценивает европейскую торговлю и ее влияние на осталь-

[10] Кант И. К вечному миру // Сочинения: в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 274

ной мир, а представителей торговли критикует за «несправедливость, каковую они демонстрируют в отношении земель и людей, которые посещают (что приравнивается к их покорению)». В целом Кант был убежден, что движение к «мировой республике» будет неизбежно усиливаться и процветать в основном потому, что люди по всей земле обладают здравым смыслом и постепенно должны понять, что это в их интересах. Таким образом, в его труде мы находим не прославление мира, состоящего из демократических народов, о котором говорит президент Буш, не хвалебную песнь свободной торговле, как у сторонников глобализации, а критику европейской государственной системы в том виде, в каком она существовала в конце XVIII в., в сочетании с тем, что впоследствии превратится в идею эволюционного пути развития человечества, где залогом мира являются разум и свобода. Идеалист, утверждавший, что прогресс на этом пути зависит от распространения идей, Кант был одновременно рационалистом в своей уверенности, что человечество не только обладает разумом, но и сможет им руководствоваться.

Многим другим мыслителям революционной эры эти утверждения уже казались устаревшими. Вере Канта в разум они противопоставляли важность чувств и ощущений, предпочитая идею европейского единства и натужный патриотизм. Англоирландский парламентарий Эдмунд Берк обвинял Французскую революцию за «жестокое разрушение ев-

ропейского сообщества», основывавшегося, по его мнению, не на разуме, а скорее на чувстве преданности, которое старинные институты монархии и церкви вызывали у своих верных подданных и последователей. Революция, по его словам, стала «схизмой для всего человечества»; уклад, привычка и чувство – основной строительный материал социальной жизни – оказались под угрозой из-за этого взрыва варварских страстей. Критика революции в варианте Берка превращалась не в напоминание о системе независимых суверенов с якобы присущим ей балансом и стабильностью, а в вымышленный, но оттого не менее привлекательный романтический образ сообщества европейских стран, объединенных общими чувствами и стремлениями. Молодой германский мистик Новалис развил эту идею еще дальше. В тексте, написанном в 1799 г., он утверждал, что Европа нуждается в возрождении древней этики, когда она считалась «одним миролюбивым обществом», когда «*один* общий интерес объединял даже самые далекие провинции этой огромной духовной империи». По мнению Новалиса, Европа должна была отвернуться от философии и Просвещения, вернуться в Средневековье, к поэзии и духовности, к «более точному знанию религии». Языком, полным мистики и аллюзий, он утверждал, что попытки установления мира интеллектуальным путем обречены на провал. «Невозможно, чтобы мировые державы пришли к равновесию между собой. Всеобщий мир – это лишь иллюзия, только временное затишье. С точ-

ки зрения правительств, да и по всеобщему мнению, единство недостижимо». У Новалиса и революционеры, и их оппоненты «имеют важные и необходимые требования и должны их отстаивать, движимые духом мира и человечества». Примирить их может только вера. «Где же та старая добрая вера во власть Бога на земле, который единственный может даровать спасение?»

Человек, впервые использовавший термин «интернациональный», английский философ Джереми Бентам, не был склонен к подобным отсылкам в прошлое, упору на веру, Бога и христианство. Неудивительно для политика, ставшего почетным членом Французской Национальной Ассамблеи на рассвете террора, Бентам не поддерживал консерватизма Берка и антиреволюционной сентиментальности и уж точно не сводил общемировые проблемы к вопросу европейского единства. В процессе перехода от поддержки революции в ее ранние годы к резкой критике ее произвола он сформировал философию административной рациональности – одновременно радикальной и антиреволюционной, – оказавшей огромное влияние на следующие несколько десятилетий[11]. Бентам выступал за превосходство разума и здравого смысла, за сведение философии и метафизики к вопросам восприятия и количественному анализу. Главное же, он стремился поставить закон на новое и более прочное основание,

[11] Burns J. T. Bentham and the French Revolution, Transactions of the Royal Historical Society, 16 (1966), 95-114.

так как считал его основным фундаментом для управления.

Термин «интернациональный» он придумал, будучи не удовлетворен идеями одного из своих оксфордских профессоров, знаменитого британского юриста Уильяма Блэкстона, чьи «*Комментарии к английским законам*» стали стандартной работой, которая, по словам историка, придавала общему праву «хотя бы видимость респектабельности»[12]. Бентам мало занимался общим правом, которое считал несистематизированной путаницей. В неопубликованной рукописи, относящейся примерно к 1775 г., он критиковал Блэкстона за чрезмерную самоуверенность в вопросах «законов наций», как будто тот знал, откуда они происходили. Возможно, из «нашего старого друга», естественного права, к которому Бентам – как Кант – относился разве что чуть лучше, чем к полному отсутствию каких-либо законов. А может, из существующих договоров и дипломатических соглашений, которые также не имели никакого отношения к закону. Именно эта интеллектуальная неудовлетворенность и заставила Бентама в своей влиятельной работе «*Введение в основания нравственности и законодательства*» использовать термин «интернациональный», познакомив с ним читателя в первый раз.

Закон в этом труде сочетался с философией в новой теории правления. Убежденный в том, что рационализация

[12] Miles A. Blackstone and his American legacy, Australia and New Zealand Journal of Law and Education (2000), 57.

в английском безнадежно дезорганизованном управлении должна начаться с чистки законодательства и что для этого потребуется законотворчество на основании выверенных и точных философских основ, Бентам начинает свое «*Введение…*» со знаменитого принципа утилитаризма. Человечество управляется болью и удовольствием, а утилитарность состоит в максимизации последнего и минимизации первого. И первое, и второе поддаются количественному анализу как для индивидуума, так и – что особенно важно в политике – для коллектива. Далее он переходит к классификации законодательства, с которым сталкиваются политики: по Бентаму, существует две разновидности искусства управления – администрирование и законотворчество, – из которых последнее более важно для философа, так как касается вопросов постоянного свойства, в то время как администрирование занимается вопросами текущими. Обсуждая категории закона, Бентам вводит новое различие между «внутренней» (internal, англ.) и «интернациональной» юриспруденцией. Сразу признавая, что читателей может отпугнуть это новое слово, он пишет в примечании:

Слово интернациональный, следует признать, является новым, хотя, как я надеюсь, оно достаточно доступно для понимания. Оно предназначено отражать в основном ту ветвь закона, которая ныне подразумевается под термином закон наций; термином настолько невнятным, что, если бы не привычка, его скорее понимали бы как внутреннюю юрис-

пруденцию каждой страны[13].

В исходном контексте Бентам просто хотел прояснить техническую сторону вопроса, поскольку считал термин «закон наций» слишком невнятным: по его мнению, необходимо было провести четкое различие между законодательством внутри государства и законодательством между государствами, а также между правовыми спорами, касающимися индивидуумов (например, по контрактам), и спорами, касающимися суверенов государств. Он оставил на тот момент открытым вопрос о том, следует ли рассматривать «взаимные транзакции между суверенами» – иными словами, интернациональное право – вообще как форму права. Его ученик Джон Остин был, пожалуй, самым знаменитым сторонником идеи о том, что международное право – это не более чем благие намерения и слова, замаскированные под их личиной.

Сам Бентам с ним не соглашался и развивал свой аргумент об утилитарности до следующего заключения: «Исход, который незаинтересованный законовед в сфере интернационального закона предложил бы для себя, будет… самым великим счастьем для всех наций, взятых вместе». Новый корпус закона должны были, таким образом, разрабатывать люди, чья справедливость распространялась бы на всех в мире. «Если гражданин мира, – писал он, – должен подгото-

[13] Bentham. An Introduction, 326, note 1.

вить универсальный интернациональный кодекс, то какую цель ему следует ставить перед собой? Всеобщая и равная польза для всех наций – вот какова должна быть его задача и его обязанность». Такова была глобальная установка, которая, будь она выполнима, позволила бы представителям общественных наук с мышлением всепланетного охвата создать общий кодекс с учетом культурных, географических, метеорологических и множества прочих особенностей каждой страны.

Идея об интернациональном кодексе законов влекла за собой институциональные сложности, а также необходимость создания интернационального суда, способного проводить в жизнь решения, которые вели бы к миру путем справедливого разрешения споров между нациями (в общих чертах эта схема описана в его «*Плане всеобщего и вечного мира*»). Постоянно смешивая откровенно фантастические проекты с практическими, Бентам расценивал кодификацию (еще один придуманный им термин) как важный этап на пути ко всеобщему миру через интернациональное законодательство. «Совершенствование всех возможных законов» должно было стать со временем одной из *ведущих* тенденций в интернациональной мысли[14].

Примерно 40 лет спустя после выхода «*Введения…*» Бентам опубликовал новое издание своего классического тру-

[14] Janis M. W. Jeremy Bentham and the Fashioning of "International Law", American Journal of International Law, 78:2 (April 1984), 405–418.

да. На этот раз он с большим удовлетворением отмечал, что его неологизм прочно вошел в современный лексикон. «Что касается слова *интернациональный* из этого труда, – писал он в 1823 г., – оно укоренилось в языке, свидетельством чему газеты и журналы». К этому времени сторонники Бентама активно пропагандировали его идеи: они предлагали планы модернизации недавно ставших независимыми Греции и Египта, а в некоторых южно-американских странах борьба между его последователями и оппонентами стала отражением более глобальных конфликтов, касающихся конституции и образования. К середине века возникло понятие «*интернационализм*» – радикальный проект, тесно связанный с развитием профессий и буржуазии, производства и торговли, а также с их идеологическим выражением в форме новых мощных социальных философий, впервые появившихся в период постнаполеоновской Реставрации. Вкратце, интернационализм предполагал критику старого порядка и утверждение, что мира можно достичь только через продуманные вмешательства, когда государства и общества управляются группами, ранее считавшимися маргинальными.

Таким образом, интернационализм существовал в тесных, но непростых отношениях с феноменом расширяющейся политической репрезентативности и ее прислужницы, растущей влиятельности общественного мнения. В год встречи Венского конгресса знаменитый политический хамелеон аббат де Прадт разоблачил своего императора как человека,

который, по его словам, покрыл Европу «развалинами и памятниками»: он призывал победителей усмирить свой «военный дух» и вернуть Европу в «гражданское состояние». Далее он говорил, что для этого от них потребуется признать подъем новой власти под названием «общественное мнение», а вместе с ним и цивилизации. Именно цивилизация, это «божество», по словам де Прадта, должна была лишить деспотов власти, вдохнуть жизнь в идеи гуманности и предать презрению войну. Однако цивилизация была неотделима от новой политики: «Национальность, правда, публичность – вот три флага, под которыми мир двинется в будущее… У народа теперь есть знания о его правах и о его достоинстве». Диктатор, свергнутый одной лишь силой общественного мнения, – вот насколько многообещающим виделось аббату будущее[15].

Доминик Жорж Фредерик дю Фур де Прадт – в разные времена преданный монархист, генерал времен революции, епископ Пуатье при Наполеоне, посланник по делам Ватикана и, наконец, посол в Варшаве – был, пожалуй, не в лучшем положении для распространения подобных идей. Однако он прекрасно ориентировался в настроениях, царивших в Европе (кульминацией его политической карьеры стало избрание на пост либерального депутата во Франции периода Реставрации), а идея власти общественного мнения пользовалась популярностью, так как критиковала не только на-

[15] Abbe de Pradt. The Congress of Vienna (Philadelphia, 1816), 32–42, 202–215.

полеоновский деспотизм, но одновременно и Европейский Концерт, нанесший ему поражение, с его въевшимся консерватизмом. Державы могли попытаться использовать свои конгрессы для того, чтобы чинить препоны «потоку новых идей», писала «*Литерари Газет*» в 1823 г., но сила общественного мнения гарантировала им провал. Принцип «ассоциации» политические теоретики признавали движущей силой современности, и даже конференции и конгрессы, которые европейские монархи превратили в механизм управления делами континента, теперь захватывались их оппонентами и превращались в форумы для открытой демократической политики. Вскоре уже казалось, что даже самые неподходящие личности тут и там созывают съезды и образуют ассоциации. К 1848 г. европейские монархи прекратили контролировать это направление политики, столкнувшись лицом к лицу с угрозой, которую представлял для них «народ». По словам Фридриха-Августа II Саксонского из письма к королю Пруссии, «против конгрессов королей уже давно существует величайшая предубежденность. Народ может с легкостью расценить их как заговор»[16]. Теория заговора Меттерниха также обращалась против них: теперь короли боялись разоблачения, а неподконтрольная им пресса обладала вла-

[16] The Literary Gazette for the Year 1823 (London, 1823); по вопросам монархии см.: Paulmann J. Searching for a Royal International: the Mechanics of Monarchical Relations in Nineteenth-Century Europe; Geyer M., Paulmann J., eds. The Mechanics of Internationalism: Culture, Society and Politics from the 1840s to the First World War (Oxford, 2001), 145–177, P. 167.

стью влиять на политику. Интернационализм, в его современном смысле движение сотрудничества между нациями и народами, постепенно сдвигался из сферы маргинальных идей к мейнстриму, а монархия была вынуждена приспосабливаться к эпохе широкого электората и парламентской власти.

* * *

Примечательная книга, вышедшая в Париже через два года после смерти Бентама (и сразу после плавания первого парохода через Атлантику), демонстрировала растущее влияние интернационализма (и Бентама) на умы европейцев. Вышедший в 1834 г. «*Роман о будущем*» Феликса Бодена дал новый толчок и до того очень популярному жанру[17]. Действие развивается в некий не указанный точно период XX в. и перемещается между Северной Африкой – в год выхода книги Франция аннексировала Алжир – и городом Центрополисом в центральноамериканской республике Бентамия, где проходят ежегодные дебаты всемирного Универсального конгресса. Этот постоянно перемещающийся мировой парламент (бывают годы, когда он встречается, например, в воздухе или на море) объединяет разные нации и государства, а участвуют в нем «величайшие и наиболее выдающиеся ин-

[17] Clarke I. F. The Pattern of Expectation, 1644–2001 (London, 1979), ch. 3.

теллектуалы, промышленники и политики всего мира».

Боден обильно наводняет страницы книги приметами футуристического жанра: там встречаются летающие машины, провокационные предсказания ведущей роли женщин в политике, падение Российской и Оттоманской империй, возникновение новой Вавилонской империи и Иудейского царства. Однако подлинной инновацией является его попытка описать триумф правления представителей на глобальном уровне. В этом смысле Боден – настоящий последователь Бентама и стремится (о чем говорит открыто) использовать нарратив, чтобы влиять на воображение и подстегивать «прогресс человечества» эффективнее, чем «даже наилучшее изложение теоретических систем».

Насколько далеко продвинулась интеллектуальная жизнь со времен Просвещения, становится ясно, если сравнить эту книгу с другой классикой утопизма, «*Год 2440*» французского драматурга Луи-Себастьена Мерсье, опубликованной в 1771 г. У Мерсье мир достигается путем роспуска армий, рабов, священников и отмены налогов, однако действие происходит в Париже, в условиях просвещенной монархии, в контексте идеализированного города-государства. Политическая проблема и мечта об интернационализме как таковом у Мерсье не существует, в отличие от Бодена. Таким образом, в период между 1770-ми и 1830-ми стало возможным, на фоне Французской революции и Европейского Концерта, представить альтернативную интернациональную политику,

которая признавала бы разницу между народами, убеждениями и формами правления, одновременно примиряя их под знаменами цивилизации[18]. Такая идея была новой. Она была связана с чем-то более широким, поскольку книга Бодена предполагает, что интернационализм следует рассматривать в контексте быстро растущего аппетита общества, касательно идей о будущем в целом. «На разведку в будущее!» – призывал французский ученый Франсуа Доминик Араго в 1839 г., за десятилетие до того как занять один из лидирующих постов в революционном правительстве 1848 г. Историки заокеанского переселения европейцев не так давно стали полемизировать о том, что так называемый менталитет приграничья следует воспринимать более серьезно, как своего рода ставку на будущее, которая довольно быстро оправдалась в XIX в. в ответ на сжатие времени и пространства, в момент, когда перемены стали происходить головокружительными темпами. Такое «мышление, направленное в будущее» коснулось и капитализма, и колониализма. Оно проявлялось в спекулятивных лихорадках и захвате земель, переживало неизбежные конфликты, провалы и разочарования, но находило подтверждение в быстро растущих городах, новых трансконтинентальных средствах сообщения и технологических новинках. Мечты о будущем увлекали тысячи ев-

[18] Bodin F. Le roman de l'avenir (Paris, 1834). В настоящее время эту книгу сложно найти. Существует английский перевод Brian Stapleford: Felix Bodin. The Novel of the Future (Encino, California, 2008).

ропейцев в Техас и Калифорнию, на нагорья Южной Африки и Гран-Чако[19].

Эра усиленной миграции дала почву для культуры, особенно чувствительной к идее единого мира; общество демонстрировало постоянно растущий аппетит к новым знаниям о трансконтинентальных путешествиях. Именно в это время возникла география, обильно финансируемая государством, – наука, напоминающая двуликого Януса, необходимая для военных походов и разведки, с одной стороны, и пропагандирующая представления о всемирной гармонии – с другой. В этот период вышло множество трудов по мировой географии, начали печататься ставшие бестселлерами иллюстрированные периодические издания, такие как французский «*Ле тур дю монд*», создавались ассоциации, как, например, Национальное географическое общество, основанное в Космос-Клубе в Вашингтоне группой американских исследователей, ученых и богатых любителей заморских приключений; в 1888 г. Общество начало выпускать собственный журнал, ставший одним из важнейших источников «распространения географических знаний». С целью точного картографирования мира была создана Международная геодезическая ассоциация, и ее научные изыскания, как и результаты других бесчисленных экспедиций, общественных и частных, серьезно изменили представления людей об окружаю-

[19] Прежде всего, Belich J. Replenishing the Earth: the Settler Revolution and the Rise of the Anglo-World, 1783–1939 (Oxford, 2009), chs. 6–7.

щем мире. Достижения географии расценивались как предмет гордости большинством мыслителей, от Хэлфорда Маккиндера, основателя возникшей в XX в. геополитики, и немца Фридриха Ратцеля, с его роскошно иллюстрированной трехтомной «*Историей человечества*», до великих анархистов, в частности Элизе Реклю и Петра Кропоткина, представителей левого крыла, для которых национализм был географической ошибкой, а география – способом продемонстрировать человечеству разные племена, входящие в него. Карты висели на стенах школ, миниатюрные глобусы стояли в жилищах представителей среднего класса, газеты писали о путешествиях миссионеров или военных в сердце Африки, и все это стало весомым вкладом в сформировавшееся в XIX в. стремление оформить представления о политике будущего в глобальных терминах. Это был период «драки за Африку», плакатов «За Величайшую Британию», которая должна была объединить разные страны в рамках одного государства, и даже планов создания всемирной федерации с целью расширить процесс политического объединения[20].

Наука служила мощным двигателем для процесса развития[21]. В своей речи, обращенной к сотрудникам нового Института электрической инженерии в 1889 г., британский пре-

[20] См. У Дункана Бэлла: «До 1870-х глобальная политика… редко рассматривалась как реальная возможность; позже она стала привычным требованием». The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860–1900 (Princeton, 2007), 64.

[21] См. гл. 4 ниже.

мьер-министр лорд Солсбери превозносил телеграф, который, по его словам, «объединил все человечество на одном гигантском пространстве, где все могут видеть, что делается вокруг, и слышать, что говорится, а также судить о любой политике в тот самый момент, когда события имеют место быть»[22]. Осознание мира как взаимосвязанного целого было неотделимо от пароходов, железных дорог, телеграфа и воздушных средств сообщения – от ощущения жизни в эпоху беспрецедентных технологических достижений. Жюль Верн прославился как мастер «фантастических путешествий»: в его романах путешествия с помощью машин, будь то субмарина или воздушный шар (в то время самый любимый аппарат фантастов), уничтожали расстояния и указывали на потенциал науки и ее перспективы для преображения цивилизации. Как подтверждали романы Верна, наука, объединенная с литературой, стала популярнейшим средством для отражения интернационалистских представлений об объединенном человечестве. Футуристические романы были уже не просто культурной пеной, сигнализирующей о более глубоких социально-экономических подвижках. Они, как утверждал Г. Уэллс, говоря о тенденции критиковать эти романы за «псевдонаучное фантазирование», лучше произведений любого другого жанра отражали «новую систему идей». А главной из них было убеждение в том, что достаточно сосредоточенное и прицельное внимание к буду-

[22] Bell, op. cit, 90.

щему позволит человечеству стряхнуть с себя предрассудки и штампы прошлого. «Дайте нам умереть спокойно под сенью объединенного человечества и религии будущего», – писал в 1890 г. французский философ Эрнест Ренан. Несколько лет спустя французский социолог Габриель Тард предложил обратный детерминизм, в котором события определялись будущим, а не прошлым, и оформил свои представления о будущей всемирной конфедерации во «*Фрагменте истории будущего*» 1896 г.[23]

К концу века широко популярная и продолжающая набирать силу футуристская литература создала целый калейдоскоп разнообразных интернационалистских прогнозов, большинство из которых было посвящено грядущей войне в Европе и миру, который должен был установиться после нее. Когда Концерт распался на конкурирующие системы альянсов, а правительства подняли налоги, чтобы оплачивать армии, вооруженные оружием невиданной доселе разрушительной силы, фантасты принялись описывать последствия будущей войны в еще больших деталях, чем ранее.

К таким авторам относился в том числе английский журналист Джордж Гриффит, социалист, оказавший влияние на молодого Г. Уэллса. Демонстрируя тесную связь между фантастикой и технологиями, его сын Алан стал инженером

[23] Этот и другие примеры см. у Armytage W. H. G. Yesterday's Tomorrows: A Historical Survey of Future Societies (London, 1968), 36–39.

и создателем турбодвигателя Эйвон для роллс-ройса. Сам Гриффит не только установил рекорд, совершив кругосветное путешествие, но и написал рассказ «*Ангел революции*», ставший настоящей сенсацией в 1892 г., в период расцвета общего увлечения анархистским террором. Рассказ посвящен Братству Свободы, террористической группе, которой командуют старый еврей из России и его красавица-дочь по имени Наташа. Когда европейские государства вступают в войну, разделившись на два основных альянса, на арену выходят террористы. Их сила заключается в обладании самолетами, созданными по последнему слову техники (их молодой изобретатель влюбляется в Наташу); также на руку террористам играет народное восстание в Америке, в результате которого в Вашингтоне создается симпатизирующее им правительство. В результате они покоряют мир с помощью своих самолетов невиданной разрушительной силы, а до этого убеждают британцев вступить в альянс с Америкой. Самолеты, анархисты, американцы и британцы, полные благих намерений, – все это классические элементы интернационалистского языка образов, популярного в лондонских пригородах конца века.

О том, что осталось от Европейского Концерта в данной картине мира, можно судить по кульминационному моменту рассказа, описанию дипломатической конференции под предводительством анархистов, которая собирается в Лондоне, чтобы предупредить всеобщее уничтожение. Когда

герой-революционер Тремэйн объясняет побежденным монархам основные принципы братства (всеобщее разоружение, перераспределение земель, международная полиция), германский кайзер протестует:

Из того, что мы услышали, может показаться, что Федерация англосаксонских народов воображает себя покорительницей мира и в таковом качестве считает возможным диктовать свои условия всем народам планеты. Я прав?

Тремэйн молча кивнул, и он продолжил:

Однако это означает уничтожение свобод всех народов, не относящихся к англосаксонской расе. Я никогда не поверю, что свободный человек, отвоевавший свою независимость на поле битвы, согласится подчиниться подобному деспотизму. Что если они откажутся?

Тремэйн тут же вскочил. Он развернулся вполоборота и встал лицом к лицу с кайзером, недобро нахмурив брови, с угрожающим огоньком в глазах.

«Ваше германское величество может, если пожелает, называть это деспотизмом. Однако помните, что это деспотизм мира, а не войны и что он повлияет лишь на тех, кто хочет нарушить мир и пойти с мечом на своих собратьев… Вы оплакиваете утрату прав и власти поднять меч на другой народ. Что ж, у вас есть возможность вернуть себе эти права прямо здесь, в последний раз! Скажите прямо, что

вы не признаете главенство Совета Федераций, и будьте готовы к последствиям!..» Эти веские и безжалостные слова тут же привели кайзера в чувство. Он вспомнил, что армия его уничтожена, самые прочные крепости разрушены, казна пуста, а население страны почти истреблено. Губы его побелели; он опустился в кресло, закрыл лицо руками и разразился рыданиями. Так закончился последний и единственный протест милитаризма против новой деспотии – деспотии мира[24].

Мечты Гриффита о планете, принужденной революционерами к миру, для многих других стали кошмаром, поскольку означали полное поражение европейского порядка, утвержденного Концертом и Священным Союзом. Императоры были низложены, анархисты и террористы праздновали свой триумф. Консерваторам «деспотия мира» по Гриффину казалась не столько утопией, сколько новым международным диктатом беспрецедентной жестокости и размаха.

С учетом того что роль главных злодеев в рассказе Гриффита играли русские, царская тайная полиция не замедлила отреагировать публикацией произведения полностью противоположной направленности. Вряд ли нам удалось бы познакомиться с фантазиями контрреволюционных полицейских, если бы не «Протоколы сионских мудрецов». Написанные в

[24] Griffth G. The Angel of the Revolution. A Tale of the Coming Terror (London, 1893), ch. 48: “The Ordering of Europe”.

течение нескольких лет после выхода «*Ангела*» Гриффита, в период, когда охранка была глубоко впутана в грязную борьбу с анархическим террором по всей Европе, «Протоколы» описывали день, когда не-иудеи «по своей воле предложат нам всепланетную власть, каковое положение позволит нам без всякого насилия постепенно поглотить все государства мира и образовать Верховное Правительство. Вместо сегодняшних царей мы создадим орган, который будет называться Надправительственная Администрация. Руки ее протянутся во все стороны словно щупальца, и будет она таких колоссальных масштабов, что покорит все нации мира». Верховное Правительство будет править, как утверждают «Протоколы», силой убеждения: внушая народам, что оно защищает и заботится о них; оно будет использовать заранее запланированные акты террора (вымысел здесь отражал реальность: охранка сама устраивала взрывы, чтобы внушить страх общественности), будет давать правителям шанс вмешаться, чтобы продемонстрировать свою силу в целях сохранения порядка; экономисты будут объяснять, почему их правление необходимо. Оппозиция при таких условиях может возникнуть разве что из оставшихся монархистов либо из охваченной слепыми страстями толпы, однако ее можно будет нейтрализовать.

В этом экстраординарном документе все достижения, которые либералы XIX в. воспевали как знаки прогресса (от конституционализма, прессы и выборов до формирования

международного арбитража), разоблачаются как часть демонического заговора, цель которого заключается в установлении через государственный переворот мирового диктата с «одним царем над всей землей, который объединит нас и уничтожит причины всех разногласий – границы, национальности, религии и государственные долги». Вот он, триумф интернационализма – его политическая программа здесь разработана в деталях, – однако представленный не как утопия, а как безграничная тирания. С интеллектуальной точки зрения это своего рода воздание должного: к концу XIX в. даже оппоненты радикального интернационализма естественным образом стали рассуждать в интернациональном ключе.

Глава 2
Братство всех людей

Вижу, как рушатся рубежи и границы древних аристократий,
Вижу опрокинутые пограничные столбы европейских монархий,
Вижу, что сегодня народ начинает ставить свои пограничные столбы
(все прочее уступает ему дорогу);
…Общаются ли все нации? Наступает ли для земного шара
эпоха единомыслия?
Формируется ли единое человечество? Ибо – слушайте!
Тираны трепещут, потускнел блеск корон,
Земля в волнении, она приближается к новой эре…

Уолт Уитмен «Годы современности»[25]

Мирное движение

«Возможно ли, – писал пропагандист мира в середине века, – что любая христианская либо другая секта, верую-

[25] Пер. Б. Слуцкого.

щая в то, что Новый Завет все-таки не сказка, усомнится хоть на мгновение, что наступит время, когда все царства на земле пребудут в мире?»[26]. Поражение Наполеона совпало с возрождением евангельского христианства, и христианские группы по обоим берегам Атлантики рассматривали резкие социальные и технические перемены, происходящие вокруг них, как знак приближения нового тысячелетия. Пользуясь растущим европейским влиянием на других континентах для пропаганды собственных представлений об их цивилизующей миссии, они открывали школы, печатали и раздавали Библии, устраивали кампании против алкоголизма и рабства, подчеркивая свою роль в принятии Парижского договора 1815 г., осуждавшего работорговлю[27].

Однако своей главной задачей они считали борьбу за мир. Потрясенные размахом межконтинентальных военных действий и репрессиями в своей стране в предыдущие два десятилетия, британские диссентеры и евангелисты в 1816 г. создали Общество продвижения к вечному и всеобщему миру, которое, как говорилось в его уставе, «выступало против войн в любой форме». Примерно в то же время было основано и американское Общество мира, а под эгидой этих крупных национальных органов сформировалась огромная сеть небольших местных мирных обществ, распространив-

[26] Wreford S. Peace (London, 1851), 34–35.

[27] Reich J. The Slave Trade at the Congress of Vienna – a Study in British Public Opinion, Journal of Negro History, 53:2 (April 1968), 129–143.

шихся по всей территории Великобритании и США. Пацифисты могли критиковать власти или поддерживать их – они всегда имели в политике собственный голос. Современники относили их к первым представителям явления, получившего название «мания ассоциирования», – того духа, который де Токвиль нашел в Америке и приписал природе демократического общества. Пацифисты высоко ценили силу новой власти, власти общественного мнения, которое «в долгосрочной перспективе и правит миром». Их издательства ежегодно публиковали дюжины трактатов: только в первый год существования Лондонского общества мира было роздано 32 тысячи копий таких изданий. Рост был столь быстрым, что некоторые предсказывали «их появление в течение нескольких лет у каждого цивилизованного народа». Страстные и убедительные проповедники мечтали о том, как «трон и славу, триумф и почет завоюет церковь, когда ее невидимый ныне Господь во плоти спустится на землю, чтобы возглавить свои войска», оживляя их ряды. Мир стал главным кредо активистов, критиковавших тех, кто «сидит без дела и ждет пришествия Бога». Они верили, что уже смогли перевернуть «умы множества» и что сумели «изгнать дух войны»[28].

[28] Philo Pacifcus. A Solemn Review of the Custom of War, showing that War is the Effect of Popular Delusion (Cambridge, Mass., 1816), 35–36; Sager E. The social origins of Victorian pacifsm, Victorian Studies, 23:2 (Winter, 1980), 211–236; Tyrrell A. Making the millennium: the Md-Nineteenth Century Peace Movement, HJ, 21:1 (March 1978), 75–95.

Мечты о мире во всем мире и о том, как его достичь, подтолкнули их к организации международных встреч, которые и по месту проведения, и по стилю заметно отличались от встреч государственных лиц, представляющих Европейский Концерт. В 1843 г. первая Генеральная мирная конвенция встретилась в масонской лиге в Лондоне. В тот период это было еще преимущественно англосаксонское дело, и собрание закрепило связи между американскими и британскими пацифистами, заложив основы для трансатлантического интернационального союза, оказавшегося столь значимым в 1919 г. Организаторы провозгласили, что англо-американское сотрудничество одобрено Богом «во имя любви к человечеству ради распространения света цивилизации и христианства во всех обитаемых уголках мира»[29]. Что касается мирового господства, пацифисты высказывались двояко. В своем Обращении к цивилизованным правительствам всего мира они призывали европейские государства в принципе отказаться от войн. Относясь подозрительно к политическим элитам, несмотря на свои попытки на них влиять, пацифисты предлагали создать «Центральный комитет надзора ради мира между народами», который должен был обращать общественное мнение против любого государственного деятеля, угрожающего развязыванием войны[30].

«Ученый кузнец» Элихью Берритт, журналист-самоучка

[29] Ibid., 86.

[30] Curti M. American Peace Crusade, 1815–1860 (1929), esp. 137–138.

из Массачусетса, заявлявший, что знает 50 языков, стал одним из лидеров этого движения. Сторонник того, что он сам называл «народной дипломатией» – в противовес аристократической дипломатии элиты, – Берритт изложил свои соображения о Лиге всеобщего братства на Съезде по делам всемирного сдерживания в августе 1846 г. Он использовал свою газету «*Христианский гражданин*» для пропаганды народного пацифизма. Действия Меттерниха в Европе лили воду на его мельницу; Берритт нашел союзников также среди квакеров и сторонников свободного рынка. В течение года он собрал 30 тысяч подписчиков и мечтал о распространении своего движения по всей Европе и США. Берритт был убежден, что рабочие должны держаться вместе, потому что если они откажутся сражаться друг с другом, у высшего класса, начинающего войны, будут связаны руки. Маркс, конечно же, подхватил эту идею и использовал ее в своей критике капитала и индустриализации.

По мере того как движение получало поддержку у среднего класса, оно становилось более респектабельным. Его расцветом стал конец 1840-х гг., когда развал уклада, насажденного Меттернихом в континентальной Европе, дал активистам движения новую надежду. Они сильно воодушевились, когда в начале 1849 г. новый президент Франции Луи Наполеон сделал свое наиболее значительное предложение по разоружению всем крупным державам, предлагая ограничить морские силы до уровня, соответствующего британско-

му. Таким образом он намеревался упрочить связи с Англией; вряд ли его действия имели связь с лоббированием мирного движения. Однако они демонстрировали, что идеалы пацифистов не были такими уж далекими от реальности, поэтому даже отказ Британии не усмирил их пыла, особенно с учетом того, что Луи Наполеон развил свою инициативу и принялся за разоружение в одностороннем порядке, сократив в следующем году военные расходы страны. Как отмечает историк, «формальная дипломатия и ажитация вокруг мирных процессов, до того являвшихся совершенно разными течениями, в этот момент впервые пересеклись между собой»[31].

При новом предводителе республиканская Франция стремилась заявить о своем лидерстве среди прогрессивных сил, которые вышли на первый план с европейскими революциями 1848 г., поэтому именно Париж в августе 1849 г. принял у себя большую мирную конференцию. Алексис де Токвиль, министр иностранных дел, приветствовал делегатов на Кэ д'Орсэ, где присутствовал также герой английской свободной торговли Ричард Кобден. Среди прочих там был и делегат американского Общества мира Уильям Уэллс Браун, родившийся в рабстве в Кентукки (и утверждавший, что его дедом является Дэниел Бун). В городе, где в 1815 г. Меттерних, Каслри, Талейран и русский царь восстановили правле-

[31] Henderson G. The pacifists of the Fifties, Journal of Modern History, 9:3 (Sept. 1937), 314–341, P. 319.

ние великих держав, присутствие бывшего раба как делегата мира символизировало рождение совершенно новой глобальной политики[32].

В своем дневнике Браун описывает беспрецедентную сцену в зале Сен-Сесиль в начале конференции: любопытных французских зевак, заглядывавших внутрь, балкон с диванами, зарезервированными для наиболее выдающихся делегатов, платформу с представителями более чем полудюжины европейских стран и торжественный выход президиума конгресса под предводительством Виктора Гюго, который *затем встал и произнес одну из самых впечатляющих и цветистых речей на тему мира, какую только можно представить. Его выступление произвело столь грандиозный эффект, что автор «Собора Парижской Богоматери» немедленно стал фаворитом этого конгресса. Английский джентльмен, сидящий возле меня, прошептал на ухо своему соседу: «Я не понял ни слова из того, что он говорил, но это все равно было прекрасно!»*[33]

Но даже на конгрессе мира не все были рады видеть Брауна в числе делегатов. «Этому ниггеру лучше бы вернуться на хозяйскую ферму», – прошептал кто-то из них. «О чем толь-

---

[32] Brown W. W. Three Years in Europe, or Places I have Seen and People I have Met (London, 1852), 50–59.

[33] Brown W. W. The American Fugitive in Europe (Boston and New York, 1855), 58–59.

ко думало американское Общество мира, когда отправляло чернокожего делегатом в Париж?» – отозвался другой. Однако европейские либералы отнеслись к нему дружелюбно, а сам Браун сумел отлично описать все собрание с независимой точки зрения. Особенно критично он отозвался о решении не допускать обсуждения текущих событий. Организаторы могли воспевать шествие прогресса – «дара Провидения» – и красочно расписывать свою «священную цель… защиту принципов мира», однако они очень старались не прогневать французские официальные власти, принявшие их у себя, тревожились за хрупкое единство внутри движения и стремились упрочить свое влияние и респектабельность. Всего за несколько месяцев до того французские войска совершили вылазку в Италию, чтобы восстановить папское правление и изгнать республиканцев под предводительством Гарибальди и Мадзини в Риме, однако и эти противоречивые события оргкомитет предпочел замолчать. «Они закрыли рты на замок, – отмечал Браун, – а ключи отдали правительству». Сдвиг в сторону прагматизма прослеживался и в заключительной резолюции. В ней больше не осуждались войны, а вместо этого предлагались более практичные меры по точечному арбитражу, сокращению расходов на вооружение и «созданию Конгресса наций для пересмотра существующего международного права и организации Верховного трибунала для разрешения противоречий между странами». Отчасти этот документ предсказывал события другой

конференции, состоявшейся через 70 лет в Версале, когда была создана практически та самая организация, что описывалась в нем.

Перипетии современности представляли для мирного движения не только осложнения, но и новые возможности: стоило ли выступать против войны, если она позволяла их благородному делу потерпеть поражение, как случилось в Польше в 1846 г. и во многих европейских столицах двумя годами позже? В 1849 г. огромные толпы собрались приветствовать в Лондоне венгерского политика Лайоша Кошута, который шекспировским языком бичевал вмешательство России в дела своей страны, чем вызвал раздражение королевы Виктории и даже раскол в британском правительстве. Пацифисты начали спорить о том, стоит или нет оказывать поддержку угнетаемым народам, в частности венграм и полякам. Браун уже отмечал их подлое молчание, когда под ударом оказались итальянцы Гарибальди и Мадзини, два других льва либерального Лондона. Военные барабаны, которые забили в непосредственной близости от их границ, когда во Франции произошел переворот, напугали англичан и привели к призывам к новой наполеоновской кампании: поддержка Луи Наполеоном мирного движения ныне выглядела как еще один неискренний пример его ревизионистской политики.

Мирное движение отклонилось от курса. Самым примечательным событием встречи во Франкфурте стало появление

индейского вождя из Америки, взявшего имя пресвятой Копуэй; он передал делегатам трубку мира под названием «Великий дух». В 1851 г. положение начало налаживаться: в этот год во время Всемирной выставки в Кристал Палас в лондонском Эксетер-Холл собралось четыре тысячи человек, и пацифистский конгресс впервые привлек внимание международной общественности. Однако и теперь для инсайдеров наподобие Брауна было очевидно, что звезда движения закатывается; это собрание он счел менее запоминающимся, чем сама выставка или Братский базар Элихью Берритта, аболиционистское шествие с участием «американских беглых рабов», и «самое большое сборище трезвенников в Лондоне», которые прошли маршем в количестве 15–20 тысяч человек на пикник после выставки[34].

Среди участников Лондонского всеобщего конгресса мира был Гораций Грили, пожалуй, самый выдающийся американский обозреватель середины XIX в. Грили был поражен выраженным демократическим характером этого события – отсутствием «лордов, графов, генералов и герцогов», титулов, которые всегда сопровождали имена членов других движений. Он также удивлялся тому, как мирное движение смогло поставить себе на службу организационную силу христиан, что удавалось не всем чисто религиозным объединениям ради распространения слова Божьего. Однако сильнее всего, как и Брауна, его потрясло политическое применение

[34] Brown W. W. Op. cit, 219–226.

квиетизма в христианском пацифизме – масштаб, в котором движение по умолчанию принимало статус-кво в Европе и проявляло терпимость к «деспотам» и их притеснению «побежденных народов». Вместе с осуждением колониализма и призывами к разоружению конгресс занял также жесткую позицию против интервенций, описывая их как «начало горьких и разрушительных войн»[35].

Однако народ, на которого возлагалось такое доверие, пацифистам убедить не удалось, а начало Крымской войны в 1853 г. возродило на время забытые воинственные настроения британцев против русских и стало для мирного движения погребальным звоном. В 1857 г. Комитет конгресса мира был распущен, а с началом Гражданской войны в Америке многие бывшие американские активисты движения за мир встали на сторону северян.

Дух войны, безусловно, не был умерщвлен, как ошибочно утверждали ранние евангельские пацифисты. Конфликты, разразившиеся между 1853 и 1871 гг., не только доказали их неправоту, они также привели к более сдержанному интернационализму, обращавшемуся то к принципам христианства, то к другим, еще более непрямым путям к миру, менее полагавшемуся на общественное мнение и Бога и более – на устройство новых институтов и усиленное внимание к границам возможностей политики. Для этого у пацифистов

---

[35] Greeley H. Glances at Europe: in a Series of Letters from Great Britain, France, Italy, Switzerland etc. during the Summer of 1851 (New York, 1851), 280–281.

имелся отличный пример успеха, тесно связанный с точки зрения идеологии с их собственным делом: движение за отмену пошлин и свободную торговлю.

Свободная торговля

Летом 1847 г. радикальный член парламента Ричард Кобден, известный сторонник свободной торговли, получил приглашение в Вену, на обед со стареющим князем Меттернихом. Покрытый славой Кобден отправился в путешествие по Европе. Он только что добился отмены парламентом Хлебного закона, запрещавшего импорт зерна, который был введен в конце Наполеоновских войн для защиты местных производителей. Отмена Хлебного закона оживила коалицию торговцев, производителей, рабочих и журналистов, выступавших за свободу торговли; недавно возникшее слово «*экономист*» было у всех на устах. Кобден снискал большую популярность как инициатор политического потрясения, которое наглядно продемонстрировало, как власть в Соединенном Королевстве быстро переходит в руки новых классов, сформировавшихся в процессе индустриальной революции. Их подъем привел к возникновению самого важного и долгосрочного варианта утопического интернационализма в мейнстриме викторианской политики.

Выступления за свободу торговли сейчас могут показаться проявлением своекорыстия – тараном, с помощью кото-

рого государство могло получить преимущество и выйти на международный рынок, – однако свободная торговля всегда связана с пошлинами, относительной стоимостью и другими экономическими тонкостями и для своих приверженцев является олицетворением всевозможных высоких идеалов. От Кобдена 1840-х гг. до «Кобдена из Теннесси» (как прозвали Корделла Халла, госсекретаря при Рузвельте) и до идеологов глобализации нашего времени свободную торговлю зачастую описывают в почти космических терминах – как средство облегчения коммуникации между народами и достижения мира во всем мире. Ее сторонники рассматривают пошлины как шаг к изоляции и враждебности, открытую экономику – как условие процветания и мировой гармонии, торговлю – как способ примирения личных интересов и всеобщего блага. «Торговля, – говорил сэр Роберт Пил, руководивший собранием по отмене Хлебного закона, – была благотворным инструментом распространения цивилизации, борьбы с национальными предрассудками и поддержки всеобщего мира»[36].

Поездка Кобдена по Европе в 1847 г. отражала широту его амбиций и предполагала связь между интернациональным сотрудничеством и внутренними реформами. По его мнению, теперь, когда Британия показала всем пример, оставалось только просветить другие нации и увлечь их за со-

[36] Peel cited in: Howe A. Free trade and global order: the rise and fall of a Victorian vision, in: Bell D., ed. Victorian Visions of Global Order (CUP, 2007), 26.

бой. Ранее он уже совершил поездку по Северной Америке и был весьма воодушевлен новостью о том, что после отмены Хлебного закона американцы внезапно снизили свои пошлины. Однако главным полем битвы оставалась Европа, а ее столицей была Вена. Обед Кобдена с Меттернихом можно было расценивать как символическую конфронтацию старого и нового видения международного порядка.

74-летний Меттерних на тот момент являлся одновременно министром иностранных дел и канцлером и с прежней энергией подавлял любые искры «революционного костра», которые только попадали в его поле зрения. Годом ранее, когда Британия отменила Хлебный закон, австрийские войска подавили восстание в польском городе Кракове, аннексировали его и тем самым уничтожили последний клочок независимой Польши. Когда они с Кобденом сидели за обедом, войска Габсбургов занимали итальянский город Феррара. Меттерних не мог и представить масштабов революционной лихорадки, которая разразится год спустя, когда Европу сотрясет серия мятежей и восстаний, австрийская монархия будет практически повержена, а самому Меттерниху придется спасаться бегством. Кобдена, однако, такая перспектива вряд ли бы удивила. Даже короткой встречи с «главным архитектором» венской системы оказалось достаточно, чтобы прийти к выводу о том, что стареющий деятель Концерта совершенно оторван от быстрых социально-экономических преобразований, происходящих на континенте. После того обеда Кобден

писал, что Меттерних —

пожалуй, последний из этих государственных «лекарей», которые, видя у нации только симптомы, довольствуются поверхностным лечением, не пытаясь заглянуть глубже, чтобы найти источник зла, воздействующий на социальную систему. Личности такого толка умрут вместе с ним, поскольку слишком много света было пролито на лабораторию правительств, чтобы человечество и дальше позволяло применять к себе устаревшие снадобья[37].

«Лаборатория правительств» – сама фраза предполагает, что правление не должно осуществляться по принципам из прошлого, основываясь на законности прав суверена, а должно быть научным, экспертным, учитывать законы природы и человечества. Если Маргарет Тэтчер достаточно понимала экономический либерализм, чтобы сказать, что «нет никакого общества» (ее знаменитая фраза), то Кобден придерживался совершенно противоположной позиции: под любой системой правления лежат социальные силы, и от них зависит успешность регулирования международных дел. В этом и заключался глубинный смысл обвинений Кобдена в адрес Европейского Концерта, задуманного в антиреволюционном духе и рассматривающего территории и население стран как собственность их правителей, неспособных справляться с результатами трансформации, происхо-

[37] Cited in: Hobson J. A. Cobden: the International Man (London, 1919), 50.

дившей по всему континенту. Взгляд Концерта, отрицающего существование общества в движении, оставался слеп к действию реальных сил. Репрессии могли на время подавить восстания националистов. Однако не только национализм был в числе сил, впервые возникших к этому моменту. Паровые двигатели и железные дороги стали самым революционным преобразованием в средствах коммуникации и транспортировки со времен Древнего Рима. Производство трансформировалось так, что целые регионы превращались в его агентов, изменяя природу труда и времени для тех, кто был в нем задействован. Грамотность быстро росла, становясь еще одним препятствием для цензуры Меттерниха, а вместе с ней увеличивалось число читающих, расширялся рынок идей.

Поскольку инициаторы репрессий считали свои задачи взаимосвязанными и при необходимости приходили друг другу на помощь – в конце концов, именно для этого и создавался Европейский Концерт, – радикалы, такие как Кобден, и местные реформаторы в целом по этой же причине формировали стратегию интернационального сотрудничества. Естественным образом они связывали локальные конституционные реформы с общим наступлением на европейский правящий класс и его взгляды. Они говорили о христианском братстве, но в демократических, а не патерналистских терминах. Они говорили не о стабильности, а о мире – мире, наступление которого было возможно только при условии,

что старые традиции секретной придворной демократии и высокие пошлины, налагаемые в военных целях, останутся в прошлом, а война перестанет восприниматься как адекватная мера для разрешения противоречий. Далее зачастую выдвигался аргумент о том, что для осуществления этого замысла необходимы некие простые, но радикальные меры – переход к определенной форме демократии, поскольку люди, предоставленные самим себе, по природе миролюбивы, а в войны их втягивают эгоистические амбиции правителей. Сам Кобден говорил, что ждет того дня, когда нации станут объединяться по «расам, религиям, языкам… а не по договорам, подписанным их суверенами». Распространение демократии и торговля шли рука об руку[38].

Свободная торговля имеет длинную историю, берущую начало задолго до Французской революции. Кант мог отрицать предполагаемое цивилизационное значение торговли, однако на протяжении всего XVIII в. критики абсолютизма превозносили ее, противопоставляя основанный на землевладении централизованный деспотизм в Европе и Азии благотворным условиям морских держав, таких как Британия с ее самоуправляемыми колониями. Наполеон придерживался альтернативной точки зрения: Британия из-за своей лидирующей позиции в коммерции эксплуатировала остальную Европу. До самого конца своего правления он считал Британию основным врагом и поддерживал блокаду, установлен-

[38] Howe, 27.

ную в интересах континента: так впервые был выдвинут аргумент, к которому другие континентальные державы прибегали на протяжении двух следующих веков, вплоть до холодной войны, и благодаря которому сложилось конкурирующее представление о европейской интеграции – европейская зона свободной торговли против общего рынка. Однако поражение Наполеона привело к еще более мощной поддержке коммерческого общества среди англофилов. Торговля признавалась не только более цивилизованной, более эффективной, свободной и благотворной, чем ее соперники, она также провозглашалась более миролюбивой. Де Прадт противопоставлял военный дух торговому и мечтал о триумфе последнего. Бенджамин Констан в «*Духе завоевания и узурпации*» 1814 г. представлял Европу при Наполеоне как «огромную тюрьму», а Англию – как «прибежище свободной мысли и спасение достоинства человечества». В своем труде он призывал Европу отвергнуть милитаризм и присоединиться к «торговым нациям современной Европы, индустриальным и цивилизованным»[39].

Движение за свободную торговлю Кобдена было лидирующим и, вне всякого сомнения, самым успешным проявлением радикального интернационализма из всех возникших в первой половине XIX в. Однако его успех имел двоякое значение. Все радикальные представления о всемирной гармонии, стоило им утратить популярность (как движение за

[39] Benjamin Constant.

мир), быстро забывались. А если они достигали триумфа, то благодаря тому, что их подхватывали политики, обращавшие их на службу своим интересам, часто противоположным интересам их создателей. Нечто подобное произошло и со свободной торговлей в коридорах Уайтхолла. То, что начиналось как мирное движение, быстро трансформировалось в новую разновидность имперской политики, которая помогла британской дипломатии силой распахнуть дверь в экономику других стран, при поддержке военного флота, повсюду от Западной Африки до Стамбула и Пекина.

Ирония заключалась в том, что сам Кобден был убежденным антиимпериалистом, и никто не описывал глобальные преимущества распространения торгового капитализма лучше, чем он сам. В речи на заседании Лиги борьбы против Хлебного закона в 1843 г. он говорил: «Что такое свободная торговля?.. Зачем ломать барьеры, разделяющие нации; за этими барьерами таятся и гордость, и месть, и ненависть, и зависть, которые и так периодически прорываются наружу, заливая кровью целые страны»[40]. Либеральная политическая экономия, поставлявшая теоретиков для новой доктрины, придерживалась тех же убеждений, и даже наименее экспансивный из классических теоретиков Дэвид Рикардо не мог удержаться и не отметить удивительную связь, которую свободная торговля устанавливала между личными интересами и общим благом:

[40] Ibid., 38.

Преследование личной выгоды удивительным образом связано со всеобщим благом. Стимулируя промышленность, награждая изобретательность, используя наиболее эффективным образом силы природы, оно распределяет усилия более эффективно и экономично; увеличивая общий объем производства, оно распространяет общие блага и связывает единой нитью заинтересованности и участия все нации цивилизованного мира[41].

Характерная для данной эпохи смесь науки с энтузиазмом проявилась на Международном конгрессе экономистов, проводившемся в Брюсселе в конце 1847 г. «Мы впервые собрались, – объявил бельгийский президент Ассоциации за свободную торговлю, – чтобы обсудить вопрос братства между людьми… чтобы претворить в жизнь завет Господа: «Возлюбите друг друга». *Экономист*, только начинающий свой путь в качестве рупора капитализма свободного рынка, приветствовал продвижение коммерческого либерализма через просвещение общественного мнения, а вместе с ним и продвижение явления, которое называли «интернационализмом»[42].

В Лондоне Всемирная выставка 1851 г., одним из главных организаторов которой также выступал Кобден, представи-

[41] Ricardo cited in: Cain P. Capitalism, war and internationalism in the thought of Richard Cobden, British Journal of International Studies, 5 (1979), 229–247, P. 231.

[42] Maynard, 226.

ла своего рода архитектурный манифест этого кредо, воплощенный в виде здания из железа и стекла, чуда современных технологий, отражавшего идеи открытости, глобальности и демократичности. «Мы живем в удивительный период, когда мир стремительно приближается к цели, на которую указывала вся его история, – *объединенному человечеству* », – объявил принц Альберт, под покровительством которого проводилась выставка, проявляя ту же увлеченность, что и многие другие викторианские прогрессисты.

Не было совпадением и то, что именно в это время сложилась концепция интернационализма как отдельной этики: развитие свободной торговли сыграло в этом процессе значительную роль. Двусторонние коммерческие договоры представляли новую модель для урегулирования дел между государствами, более практичную, демократичную и менее ограниченную, чем модель Концерта с его консультациями великих держав. А также и более глобальную: коммерческие соглашения британцев и французов с турками и китайцами, возможно, были не так желательны для последних, однако в европейском понимании они означали дальнейшее распространение цивилизации. В рамках Европы коммерческое соглашение между Англией и Францией, заключенное в 1860 г., стало водоразделом, за которым последовало еще 60 договоров, благодаря чему Западная Европа приблизилась к единому рынку сильнее, чем в какой-либо период до конца XX в. Современники рассуждали о «Европейской дер-

жаве» и рассматривали торговлю как двигатель интернационализма, который теперь противопоставлялся устаревшим механизмам Концерта. К середине 1860-х гг. интернационализм рассматривался как величайший современный вклад в «открытие законов политической экономии», а «торговым сословиям» приписывалось стремление к «объединению и международному сотрудничеству»[43].

Самого Кобдена превозносили как идеального «человека мира». «Это странно, но верно, – писал автор одного из некрологов после смерти Кобдена в 1867 г., – что ни одного человека до него нельзя было назвать человеком мира». На долю Кобдена, продолжал он, выпало донести до народов идею о том, что новые политические институты смогут снизить подозрительность между нациями и использовать свободную торговлю в качестве инструмента, демонстрирующего, что война не является неотъемлемой составляющей естественного порядка, будучи разновидностью «анархии», которую люди могут усмирить, если сами того пожелают, чтобы показать, прежде всего, что национализм, в правильном понимании, является не преградой для интернационализма, а путем к нему. Распространение демократии и правление ее представителей, а также мир во всем мире во многом зависят от отмены пошлин: «Поскольку он понимал, что еще

[43] Levitt J. An Essay on the Best Way of Developing Improved Political and Commercial Relations between Great Britain and the United States of America (London, 1869), 55–59.

не настало время для полного расцвета интернационализма, заключающегося в определенного рода политическом единстве, он считал своим долгом продолжить путь к нему, распространяя эту идею в общественном сознании, устраняя препятствия на пути ее продвижения, защищая и пропагандируя любые меры, законы или политики, способные привести к ее реализации. И главной из таких мер было освобождение торговли»[44].

Таким образом, как говорит цитата, приведенная выше, в пробуждении «общественного сознания» сторонники свободной торговли видели лучший способ реализации своих задач. Их основное предположение, общее с евангелической мыслью, заключалось в том, что братские чувства людей должны проявиться через демократическую силу общественного мнения. Идея, передаваемая из поколения в поколение либералами вплоть до основателей Лиги Наций, заключалась в том, что человечество само по себе стремится к миру, если правительства не вмешиваются в его дела. Войны развязывают политики с особыми интересами, искажающими врожденную человеческую бескорыстность: разрешите людям свободно объединяться – и вы создадите мощную мирную силу. Свободная торговля являлась, таким образом, идеологией интернационализма, для которого не требовалось отдельной международной организации, а только меха-

[44] Lord Hobart. The “mission of Richard Cobden”, Macmillan’s Magazine, 15 (January 1867), 177–186.

низм для отмены пошлин, то есть мир должен был прийти к некой версии Всемирной торговой организации, но не к многочисленным другим агентствам, наводнившим сегодня международную политику. Она предлагала фундаментальную антиполитическую концепцию интернациональной солидарности, враждебную по отношению к до сих пор многочисленным аристократическим элитам, правившим миром, которая после Первой мировой войны отразилась в призыве Вудро Вильсона к новому мировому порядку с международным общественным мнением в качестве главного мерила. Однако к тому времени уже и сам Вудро Вильсон воспринимался скорее как персонаж из прошлого века, и одна из причин, по которой европейские либералы приветствовали его идеи, заключалась в эйфории, царившей в Европе в 1919 г. и достигшей таких масштабов, что они не могли поверить, будто самый влиятельный человек в мире говорит на языке их духовных праотцов. Проблемы, связанные с этими тезисами, стали очевидны еще несколько поколений назад и обернулись против самого Кобдена в последние годы его жизни. Основным аргументом Кобдена против старой дипломатии была ее приверженность интересам одного класса – милитаристской аристократии. Своими мерами наподобие Хлебного закона политики мешали естественному ходу событий, действуя в собственных интересах. Они бесконечно рассуждали о балансе сил, чтобы оправдать повышение налогов и необоснованные затраты на вооружение, а в

дальнейшем сами искали конфликтов, оправдывающих эти затраты. Снижение налогов было, таким образом, проявлением мирной политики, в то время как баланс сил являлся «не обманом, не ошибкой, не жульничеством, а пустым звуком, не поддающимся ни описанию, ни осмыслению». Кобден настаивал на том, чтобы Британия держалась подальше от любых вмешательств в дела иностранных государств: не имело смысла, например, поддерживать Турцию или вступать в войну с Россией. Для англичан гораздо полезнее было бы «отказаться от безрезультатных попыток делать добро соседям и дубиной насаждать повсюду мир и счастье, когда они могут спокойно жить у себя дома, постепенно налаживая там дела, и обрабатывать собственные угодья по своему желанию»[45].

Однако Крымская война заставила Кобдена и многих его последователей лицом к лицу столкнуться с «военным духом», охватившим политиков. Тяжелым потрясением для них стал тот факт, что пресса и общественное мнение, на которые они привыкли опираться, начали проявлять агрессивность. «Являемся ли мы, в конце концов, существами разумными и прогрессивными?» – спрашивал себя Кобден. Мирным активистам он рекомендовал умолкнуть до тех пор, пока война сама не продемонстрирует свою иррациональность. Сам же он продолжал верить, что анализ экономических фактов является наилучшим основанием для просве-

[45] Cobden R. The balance of power.

щения народных масс. Однако политизированные аналитики задавались теперь вопросом, насколько эти народные массы в действительности руководствуются здравым смыслом. Рассуждая о новом консервативном уклоне в викторианском либерализме, Джон Стюарт Милль переосмыслил доктрину утилитаризма с учетом того факта, что образованные классы просто более рациональны и дальновидны, чем массы. В своем «*Эндимионе*» 1850-х гг. Бенджамин Дизраэли раскритиковал радикальный рационализм Кобдена. «У них появилось новое имя для этого гибрида чувств, – заявлял посол. – Они называют его общественным мнением». «Какой абсурд, – говорит Зенобия («королева Лондона, мод и партии тори»), – это просто название. Если может существовать какое-то мнение, то только у суверена и обеих палат парламента». Что касается прессы, то кричащие заголовки и кампании на первых полосах трудно было воспринимать как голос разума. Даже во времена Крымской войны премьер-министр лорд Абердин сетовал, что «английский премьер-министр должен угождать газетам… а газеты вечно требуют вмешательства. *Они* науськивают народ и правительство вслед за ним». Пресса и общественное мнение могли, по его мнению, заставить правительство вступить в войну[46].

Идеи Кобдена о свободной торговле не исчезли с его смертью. Так и не осуществившийся план созыва в 1875 г. Европейского налогового конгресса был последним его детищем.

[46] Hobson, Cobden, 115; Disraeli and Aberdeen cited in Henderson, 326.

К тому времени первый «интернациональный человек» уже утратил свое влияние, особенно на европейском континенте, а «национальная экономика», наоборот, находилась на подъеме. Формирование мощных противоборствующих альянсов после возникновения Германии в 1871 г. и захват земель в Африке и Азии после 1882 г. положили конец общемировым амбициям сторонников свободной торговли. Страны становились менее милитаристскими по мере того, как делались более национальными. Протекционизм распространялся по всему миру. Оставшиеся в меньшинстве члены Клуба Кобдена, его ученики, столкнулись с всеобщим «бегством от свободной торговли». По иронии судьбы Британская империя, которую Кобден так критиковал, теперь считалась в самой Британии бастионом свободной торговли в мире, состоящим из противоборствующих торговых блоков, однако это послужило лишь тому, чтобы придать реформе налогообложения вид разумной доктрины, направленной на получение Британией экономического преимущества. Иными словами, как и мирное движение, с которым ее тесно ассоциировали, свободная торговля процветала при интернационализме 1840–1850-х гг., а затем была забыта. Прошел целый век с Великой депрессией и Второй мировой войной, прежде чем другая мировая держава – США – подхватила ее идеи и развила их до глобального доминирования в 1980-х гг.

Национальность как интернационализм

Третьим новым элементом викторианского интернационализма стал, как его тогда называли, принцип национальности. В наше время мы расцениваем национальную гордость и стремление к интернациональной гармонии и миру во всем мире как противоборствующие импульсы. Однако такой взгляд сформировался достаточно недавно: отношение к национализму значительно изменилось с момента его появления как политической силы в континентальной Европе. В 1919 г. президент Вудро Вильсон побывал в Италии, прежде чем прибыть в Париж для участия в церемонии основания Лиги Наций. В Генуе под проливным дождем он произнес речь, стоя перед памятником одному из самых выдающихся уроженцев этого города. «Я безмерно рад, – сказал президент, – что мне выдалось принять участие в реализации идеалов, которым были посвящены его жизнь и работа». Монумент, возвышавшийся над ним, посвящался Джузеппе Мадзини (1805–1872) – одному из основоположников итальянской унификации, революционному агитатору, выступавшему против системы Меттерниха, и «святому апостолу» дела наций.

Мадзини был одной из тех редких фигур, которых можно по праву назвать плодовитыми: его рассуждения о мире как интернациональном сообществе демократических наций-го-

сударств после смерти автора продолжали оказывать огромное влияние на следующие поколения. Его идея, как отмечал Вудро Вильсон, об объединенных нациях-государствах одержала победу над идеями унитарного устройства со всемирным правлением в процессе образования Лиги Наций, а позднее ООН. Мадзини был одним из первых и наиболее влиятельных мыслителей, всерьез задумавшихся об интернациональном сотрудничестве в терминах политики национализма.

Изначально Мадзини считал своими врагами Габсбургов и стоящий за ними Священный союз. Из-за их тирании его сначала посадили в тюрьму за членство в секретном революционном обществе карбонариев, а затем отправили в ссылку. В результате он выработал собственное антимонархическое кредо. «Мы не заключаем союзов с царями, – писал Мадзини в 1832 г., вскоре после того, как основал «Молодую Италию», движение за независимость и объединение страны. – Мы не питаем иллюзий, что сможем оставаться свободными, полагаясь на международные договоры и дипломатические уловки. Мы не доверим свое благополучие протоколам конференций и обещаниям монархических кабинетов министров… Слушай, народ Италии, мы будем сотрудничать только с другими народами, но не с царями»[47].

[47] Mazzini G. On the Superiority of Representative Government [1832] in: Recchia S., Urbinati N., eds. A Cosmopolitanism of Nations: Giuseppe Mazzini's Writings on Democracy, Nation Building and International Relations (Princeton, 2009), 43–44.

Охваченный ненавистью к монархам, Мадзини какое-то время увлекался космополитизмом Просвещения, который поддерживало предыдущее поколение итальянских изгнанников. Он одобрял их идею о том, что существует долг более высокий, чем подчинение королям и суверенам, однако считал, что они преувеличивали роль разума и прав индивидуума, не понимая, что делу гуманизма лучше служить коллективно, всей нацией. Служение нации для Мадзини являлось главным человеческим долгом и обязанностью. Оно было альтруистическим и потому этичным. Старомодный космополитизм, с другой стороны, идеализировал сосредоточенного на себе индивидуума и потому являлся эгоистическим. За это, помимо материализма, Мадзини не одобрял Бентама и утилитаристов. Национализм Мадзини воспринимал прежде всего как общее духовное возвышение, достигаемое через взаимную поддержку и коллективное действие, благодаря которым он поднимался выше индивидуальных эгоистических интересов. В этом нация походит на семью, в которой общие интересы ставятся выше интересов каждого отдельного ее члена. Превыше нации может быть только Европа в целом, включающая все входящие в нее народы. Мадзини являлся, таким образом, провозвестником идеи континента демократически организованных национальных государств, Священного союза народов. Три года спустя после основания «Молодой Италии» он вместе с небольшой группой других изгнанников основал в Берне «Молодую Евро-

пу», призванную координировать национальные революции, нацеленные на свержение Священного союза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.